

## БАЗАР В ДРОГОБЫЧЕ

В начале девяностых в моем родном Дрогобыче многое менялось. Мне, пацану, это было хорошо заметно, ведь я жил у рынка.

Надо сказать, что рынок стал базаром, когда развалился Союз, до этого, во времена коммунизма, на рынке продавался очень дешевый, неинтересный товар. В основном, люди торговали по субботам тем, что выросло у них на огороде, что снесли их куры и дали коровы. Хорошо шло мясо, овощи и фрукты, а все остальное покупалось в государственных магазинах. Считалось, что все необходимое для гражданина производила советская легкая и пищевая промышленность. Но кое-что можно было купить только на рынке.

А этим «кое-чем» было ничто иное, как поросята, которых покупали на откорм. По субботам с самого утра в Дрогобыче продавали молочных поросят. Визг стоял неистовый – отдавали их в мешках, торговались, перекрикивая беспокойных свиней. Размахивали советскими деньгами, стояли в очередях к продавцам и быстро выбирали поросят по логике, понятной только им – крестьянам, людям, которые всю жизнь провели на земле. Их жизненная мудрость поражала: им достаточно было прикоснуться мозолистыми руками к розовым свинкам, чтобы точно определить, стоит ли вкладывать труд и корм в будущее сало и мясо, которое принесут эти замечательные животные под Рождество или Пасху – на праздники, одним словом. После покупки счастливые крестьяне обмывали выгодное дельце в здешней забегаловке «Любава», что у базара, на автовокзале. Праздновали, стоя за особыми высокими круглыми столами, пили водку, закусывали нехитрой едой: ржаным хлебом, салом, луком и солеными огурцами, иногда запивали минеральной водой из бутылок грубого стекла с гуцулом с трембитой<sup>1</sup> на этикетке. Крестьяне каждый раз бодро чокались рюмками с водкой, расхваливали своих поросят и рассказывали, кому какую удалось выторговать скидку. Это было их любимое занятие, а молчал, как правило, тот, кто заплатил больше, он просто чокался с товарищами, которых видел раз в полгода на рынке, и, молча вздыхая, смотрел под

---

<sup>1</sup> карпатский пастуший рожок

стол, где несчастные поросята, только что отлученные от погребца, верещали, барахтаясь в льняных мешках. Неудачник должен был еще оправдаться за неоправданно дорогую покупку перед директором своего маленького фермерского хозяйства, то есть перед собственной женой.

Всегда находился неудачник, который купил самую дорогую свинку, хотя о деньгах речь не шла, ведь в конце существования Советского Союза деньги были у всех, проблема была совсем в другом – нечего было на эти рубли купить. Царил тотальный дефицит, полки были полупустые. Как только в магазин завозился товар, любой, даже негодный, люди выстраивались в длинные очереди и покупали все на свете: мужские носки или стиральные машины, игрушки или телевизоры, посуду или подушки. Неважно, что ты покупаешь, главное – избавиться от рублей. Даже гробы покупали впрок, я не раз видел, как соседи-пенсионеры рассматривали перед домом свои только что купленные гробы, которые затем бережно складывали на чердак. Ведь еще неизвестно, что будет завтра и удастся ли купить этот последний дом, поэтому пожилые люди в те времена старались позаботиться даже о собственной смерти, так как сплошной дефицит распространялся как на здешнюю жизнь, так и на потустороннюю. Но самой заветной мечтой у всех была покупка золота или долларов. Тот, кому это удалось, был на сто процентов уверен в завтрашнем дне. Люди чувствовали, что впереди их ждут большие перемены, и чем реальнее они, эти перемены, становились, тем сложнее было что-то купить в государственных магазинах, а частное предпринимательство было тогда полулегальным. Один из парадоксов позднего Союза – деньги есть, а товара в магазинах нет, поэтому рынки были спасением еще и потому, что позволяли избавиться от излишка рублей. Вести натуральное хозяйство в столь трудные времена было очень выгодно, потому и разрастались подобные «поросячьи» базары. Пресытившись общением, выйдя из забегаловки, крестьяне перекидывали мешки с поросятами через плечо и на многочисленных «пазиках» и «рафиках» разъезжались с автовокзала, находящимся рядом с торжищем, в разные концы Дрогобычского района. В город они теперь приедут нескоро, лишь тогда, когда наступит время покупать новых поросят, или, если, не дай Бог, возникнет какая-нибудь другая острая необходимость. Селяне недолюбливали город, и если приезжали, то только на рынок, иногда взяв с собой детей. Большинство этих детей свято верили, что Дрогобыч – это огромный рынок, а за ним ничего нет. Взрослея, они с удивлением узнавали, что

существует еще и целый город – с улицами, площадями, парками и скверами.

Еще на таких рынках продавали лошадей. Однажды случилось происшествие, о котором гудел весь город. Уважаемый человек, имени которого назвать не могу, жил недалеко от базара на четвертом этаже, как у нас говорят, *сталинского* дома. «Сталинскими» называют дома, построенные сразу после войны. Местные деды, усмехаясь, говорят, что эти дома построены или в эпоху «позднего репрессанса», или «раннего реабилитанса». Дома отличались просторными лестничными клетками, высокими потолками и толстыми стенами, внешне были похожи на польские или австрийские предвоенные постройки. Так вот, этот мужчина временами являлся пред светлые очи его жены в не совсем трезвом, а, лучше сказать, в совсем нетрезвом состоянии. Не то, чтобы это случалось регулярно, но время от времени с ним происходили странные алкогольные приключения, которые жене он объяснить не мог. Вот и на этот раз пришел человек домой не совсем трезвый да еще и привел с собой неизвестно откуда взявшегося огромного пса на поводке. Жена такое «общество» не пустила, и прежде чем захлопнуть дверь перед носом, саркастически заявила:

– Ты бы еще лошадь в дом привел!

Зря она так сказала! Тот человек был с чувством юмора, он пошел на базар и купил коня. Широкая лестница дома легко пропустила животное, послушно поднявшееся на четвертый этаж. Так муж и предстал пред благоверной: с лошадьё, как жена просила, и с псом в придачу.

– Вот, привел еще и лошадь, теперь впустишь нас?

Что было дальше, история умалчивает. Ох, как бы я хотел увидеть лицо хозяйки! Сомневаюсь, что лошадь они оставили себе, известно лишь, что жена согласилась приютить огромного пса. А весельчак-пьяница еще долго в компании собутыльников рассказывал, как он в дом лошадь привел. Эта история переходила от стола к столу и всегда сопровождалась громким хохотом. Что тут скажешь... Так мужик стал одновременно символом свободы и сумасшествия на всю голову, всегда желанным рассказчиком, пускай только в определенных кругах и за особыми столами собратьев по рюмке.

Так было в конце коммунизма. Привычные рынки с нехитрым товаром увядали, «бизнес» спадал сам по себе, и не знаю даже, почему, я тогда, будучи ребенком, об этом даже не задумывался. Живя возле рынка, я любил путешествовать с мальчишками из нашего двора между

торговыми рядами. В толпе людей нам было весело и интересно, это был местный Вавилон.

В начале девяностых наш рынок вдруг стал очень ярким, наполнился цветными, с надписями на груди «Boys», свитерами, джинсами «Malwina», жвачкой, шоколадками, электронными часами «Montana»... Всевозможный товар заполнил наш «канонический» рынок, и все это продавалось стихийно «с рук», с капотов маленьких «фиатов». Продавцы выстроились кривыми рядами, кто где только мог, и даже – что было для нас, мальчишек большим чудом – создали собственный базар, напротив взаправдашнего, в местном парке. Правда, никто этому и не возражал, потому что все делали бизнес. Одним словом, к нам приехали поляки!

С появлением на рынке поляков, нам, малым детям, стало намного веселее в наших странствиях. Мы слышали новый язык, вслушивались теперь, как бьется за товары смесь языков – украинского и польского. Если же продавец и покупатель не могли найти общий язык, то использовался последний аргумент – русский язык. Иногда рисовали цифры на песке палочками, перечеркивали, вписывали новые, (продавцы – выше, покупатели – ниже) и продолжали торговаться. Иногда случалось, что поляки, не зная религиозного календаря православных, приезжали в разгар церковных праздников, и тогда бизнес не шел, прохожие украинцы только разводили руками:

– Сегодня *велике свято*<sup>2</sup>, рынка нет, разве вы не знали?

– Да откуда же мы могли знать, – жаловались поляки.

Так мы узнавали друг друга... Выглядело это довольно забавно, не только из-за языковых или культурных курьезов, а потому, что такие польско-украинские ярмарки обнаружили много общей родни среди покупателей и продавцов. Выяснилось, что многие поляки, перед тем чем ехать в Дрогобыч, искали здесь утраченные корни, объединяясь в «торговые синдикаты». То есть, украинские родственники приводили соседей и знакомых, чтобы те покупали у «их» продавца, то есть родича, и, когда сумка с товаром пустела, – а пустела она быстро, потому что торговля была оживленной, – родня объединялась уже по-настоящему, то есть все шли на «короткий» обед, хотя мы-то знаем, какие у нас, славян, короткие обеды!

Много таких субботних обедов было и в моей семье. Родственники из Польши, которых мы, казалось, давно потеряли, вновь

---

<sup>2</sup> свято – церковный праздник

отыскались, и соединил нас базар у нашего дома. Было неважно, что дядя Томек – сын троюродного брата, а тетя Кася приходится родней, лишь поскольку была крестной кузена моего папы. В любом случае, уж точно не совместное ДНК было главным. Просто украинцы и поляки соскучились друг по другу, ведь границы десятки лет разделяли наши города и села, но не людей.

Ну, собственно, вот и все о «коротких» обедах после субботних базаров.

Сдается мне, что тогда больше говорилось, чем пилось и закусывалось, сообщалось обо всем на свете, и, прежде всего, о том, как кому живется.

«Ну как там у вас? Рассказывайте!» Так начиналось любое послеярмарочное застолье. И – много говорили, чокались келишками<sup>3</sup> с водкой, потом пели, потому что и песни есть общие. ... «Дзвонь, дзвонь, дзвонь дзвонэчку»<sup>4</sup> – вылетало из приоткрытых форточек какой-нибудь многоэтажки. «Хэй, хэй, хэй, соколы!» – доносилось в субботу из многих дрогобычских домов. «Будем!» – выкрикивали вместе и пили снова. «Будем!» – повторяли мы, дети, и чокались чашками с чаем, веселя этим родственников за столом. «Будем!» – скромно говорил дядя Томек и пил с нами, детьми, чай, поскольку был за рулем. «Будем!» – громко отвечала тетя Кася, которая за рулем не была и чокалась со старшими. «Будем!» – подхватывали все вместе, и малые, и большие. «Будем!» – звучало в субботу после обеда...

А потом поляки отправлялись домой до следующей субботы, до следующего базара, к следующему застолью. Мы, дети, очень ждали той субботы, в нашем маленьком городке субботние базары с поляками были едва ли не самым большим развлечением.

Со временем те ярмарки становились все меньше, а потом и вовсе исчезли, ездить в Украину стало невыгодно, и жизнь в Польше стала лучше. А у нас стала хуже, и мы, украинцы, поехали торговать в Польшу, но это уже совсем другая история, которую я когда-нибудь расскажу.

## **КАК МОЙ ДЕД ДЬЯВОЛА ПОБЕДИЛ**

Родился я в городе Дрогобыче в Украине. В том славном мифическом Дрогобыче Бруно Шульца, в метафизическом городе трех

---

<sup>3</sup> келишок – маленький граненый стаканчик или рюмка

<sup>4</sup> «Hej, sokoły!» – польская песня, популярная также в Беларуси и Украине.

культур. Точнее, родился я еще в Советском Союзе. Поэтому культура была всего одна, советская, при ней я и пошел в школу в первый класс.

Здесь нельзя не упомянуть моего деда. С самого детства он воспитывал меня в антикоммунистической традиции. Еще бы, дед отсидел в сибирских лагерях десять лет и был отъявленным врагом народа, а следовательно, и врагом коммунистов. Всю свою протестную энергию дед вкладывал в мое воспитание. Бывало, прогуливаемся мы в городе, я, маленький хлопчик шести лет, слушаю его небылицы, и тут мы проходим мимо памятника Владимиру Ленину – огромного, ну просто нереально большого, стоящего перед ратушей и показывающего рукой, выброшенной вперед, путь развития советскому народу. Дед тогда прекращал рассказы, каждый раз менялся в лице, прикрывал глаза ладонью, задирает голову к «самому» и говорил шепотом, помахивая старческим кулаком: «Жди, черт, тебя еще кондрашка хватит, скоро тебя отсюда снимут и повезут в пекло»

Надо сказать, шел тогда тысячи девятьсот девяностый год, а я шел – в первый класс. В школе нас учили не только алфавиту, но и тому, что вождь мирового пролетариата нас, маленьких советских детей, очень любит и всегда за нами наблюдает. В качестве доказательства, в нашем классе прямо над столом учительницы висел большой портрет самого наблюдателя. Так что, не только «товарищ Ленин» мог нас видеть с большого портрета в золоченой деревянной раме, но и мы целым классом каждый день вынуждены были смотреть ему в лицо. Для меня это была жизненная травма и трагедия. К тому времени я уже был воспитан дедушкой, которого очень любил, верил ему больше всего, и не мог понять, почему в классе над учительницей висит портрет черта. Ведь дедушка точно объяснил, кто это! И почему за нами, маленькими советскими детьми, пока мы учимся писать слова «мама» и «мир», смеет следить дьявол! Это были мои первые серьезные вопросы к советской школе. Я не мог их до конца правильно сформулировать, а, тем более, спросить о дьяволе мою атеистку-учительницу русского языка. Поэтому каждый раз, когда я переступал порог школы, то боролся с невыносимым чувством, что попадаю в преисподнюю, ведь где еще за тобой может наблюдать сатана? Но как я тогда ошибался, ведь настоящий ад наступил на уроках пения:

– Мои дорогие дети, – обращалась к нам Мария Ивановна, которая, кроме того, что учила нас писать, дополнительно вела занятия по музыке и пению, – сегодня мы с вами разучим любимую песню товарища Ленина «Во поле берёза стояла».

– О Боже! – подумал я, – сейчас нас, школьников заставят петь гимн дьявола, его любимую песню!

– Слова и музыка народные, – продолжала учительница.

А слова мне из этой песни запомнились такие:

*Во поле береза стояла,  
Во поле кудрявая стояла,  
Люли, люли, стояла...*

Дальше я уже и забыл... Помню лишь, что на репетициях я придумал собственное продолжение этой песенки, даже два варианта:

*Во поле береза стояла,  
выпила сто грамм и упала,  
Люли, люли,, упала...*

или второе

*Во поле береза стояла,  
в чемодане бомба лежала,  
Люли, люли,, лежала...*

Поскольку наш детский хор был очень большим и пел в унисон правильную версию этого чертова гимна, я всегда смело, во весь голос озвучивал то один, то другой собственный вариант, ведь мой голос непременно терялся в коллективном «Люли, люли, стояла». ..

В конце концов, так случилось и на концерте ко дню рождения Ленина. Среди зрителей был и мой дедушка, я рассказал ему о моем авторском «видении» текста дьявольской песни, дед, ничего не говоря, просто погладил меня по голове и, одобряя, кивнул. И вот на концерте я в полный голос, в припеве, выразил свою антисоветскую позицию, выбрав вариант «В чемодане бомба лежала». Дед внимательно на меня в тот момент смотрел и, прочитав по губам, еще раз кивнул, подмигнул мне, слегка улыбнувшись. Это была наша тайна.

Потом наступили долгие летние каникулы. Дед, уже до этого тяжело болевший, умер, тихо отойдя во сне. Я очень скучал по дедушке и нашим прогулкам, по его байкам. А в конце августа бомба в чемодане все-таки разорвалась. Советский Союз распался, Украина стала независимой. А через неделю мы снова пошли в школу, во второй класс.

На пороге нас встретила Мария Ивановна, она была очень беспокойна, постоянно поправляла прическу и очки. Тогда я еще не знал, что ее мир только что распался, развалился, и теперь она не знает, как жить дальше, в какие идеалы теперь верить...

– Заходите, дети, в класс, – позвала учительница.

Удивления нашему не было предела. Ленин со стены исчез, а вместо него висел портрет Тараса Шевченко, правда, в той же золоченной деревянной раме.

– О! – прошептал я, глядя на Марию Ивановну. Неужели в ад забрали?

Вот дедушка! Он таки победил дьявола!!!

## **АНДРЕЙКА И ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА**

Мальцом я часто прибежал на работу к маме, она работала на швейной фабрике. Там я слонялся по цехам, сопровождаемый гудением машин, коридорными сквозняками, какофонией голосов швей, которые перекрикивали невероятный шум в цехе, голосили о выполнении плана, низком проценте брака и о чем-то еще. По дороге между швейными машинками меня преследовали громкие удары огромных межцеховых дверей на пружинах, чваканье прессов, облака пара, запахи буфета и туалета, тканей и машинного масла. Еще я удивлялся, как это швеи не пристрачивают ненароком пальцы к брюкам, ведь игла так близко, и почему на проходной надо проходить сквозь дурацкое колесо, которое больно бьет по коленям или подгоняет в задницу.

Иногда я останавливался у какой-то странной металлической конструкции и наблюдал на безопасном расстоянии, что с ней произойдет. Работница нажимала кнопку и *оно* начинало рычать, свистеть, гудеть, вот заработали ножи или иглы, закрутились шпульки с нитками. Покромсают или, наоборот, сошьют манжеты, штанины, воротнички, карманы... Назначение некоторых механизмов и агрегатов я не знал, особенно, когда они не выполняли никаких действий, а просто стояли недвижно. К такому монстру я мог подобраться и ближе, на расстояние вытянутой руки, поспешно исследовать, для чего он живет и что, предположительно, может делать.

В таких случаях действовать следовало быстро и без колебаний: увидев застывший агрегат, чья роль пока не еще не была объектом моего детского интереса, мне необходимо было убедиться, что рядом никого нет, подкрасться ближе и методом прощупывания, кручения разных колесиков и записывания пальцев во все отверстия неизвестного



существа определить назначение устройства в круговороте пошива брюк или пиджаков. Далее надо было мгновенно исчезнуть, чтобы никто не поймал и не заставил выслушивать длинные лекции о соблюдении правил техники безопасности, что это фабрика, а не песочница, и так далее, и тому подобное. Случалось, меня таки ловили с поличным. В такие минуты я покорно склонял голову и считал про себя до десяти, на счет «десять» немного поднимал большие, полные почти искренней вины глазки, и качал головой в знак понимания. Это означало, что я больше не буду лезть к станкам никогда-никогда. Потом я снова склонял голову, считал до десяти и прокручивал тот же трюк. По моим наблюдениям, дважды признать свою вину жалобным покачиванием головы и четкими выстрелами невинных детских глаз было вполне достаточно, чтобы растроганная тетя, погладив меня по головке, отправлялась дальше по своим делам с чувством выполненного долга ответственного взрослого. Ну что же, ей приятно, а мне дважды до десяти посчитать не трудно!

Должен признать, мои предположения не всегда совпадали с истинным назначением исследованных мной станков. Так, например, небольшая подводная лодка во втором цехе, которую неизвестно для чего туда встроили, оказалась обыкновенным прессом. И все эти механизмы и кнопки, предназначенные, по моим расчетам, для погружения под воду и быстрого маневрирования, явились совсем не тем, чем казались на первый взгляд. Или небольшой стационарный пулемет с боковыми ящиками, очевидно, для боеприпасов, и дополнительным встроенным ножом для близкого боя оказался на самом деле обычной машиной для изготовления лекал или чего-то подобного. Но несмотря на все, результаты исследований, кратко изложенные мною перед почтенной публикой дворовых пацанов, подкрепленные оживленной жестикуляцией и некоторыми ничтожными и безусловно оправданными гиперболами, имели среди местного населения одного со мною возраста большой успех. В такие моменты я чувствовал себя настоящей звездой, таким, как Брюс Ли или Иван Попович. Правда, ребята, которые были старше и уже ходили в школу, считали меня неисправимым лжецом, не верили ни единому слову о невероятных конструкциях и секретных аппаратах, увиденных на местном швейной фабрике «Заря». Но я на них не обижался, ведь даже несмотря на то, что моим рассказам верила только часть детской дворовой общины, я все же имел стабильный успех. Снова и снова, рассказывая свои истории, я собирал вокруг себя благодарную публику и устраивал на площади у

старых тополей, неподалеку от голубятни в нашем дворе, настоящие бенефисы.

Однажды путешествие к маме на работу изрядно потрясло детское сознание. Это был один из последних моих визитов на фабрику. Мама сказала, что уходит в отпуск, в длинный отпуск, и скоро у меня будет братик, а я тогда как-то пропустил ее слова мимо ушей, потому что из окна цеха увидел сооружение, странным образом до сих пор мной не обследованное на предмет обнаружения в нем фантастических объектов. На территории фабрики стояла высоченная старая водонапорная кирпичная башня с маленькими окнами на самом верху и с лестницей на крышу. Если приложить ухо к ржавым дверям башни, то можно было услышать монотонное гудение компрессоров и едва слышное постукивание каких-то механизмов. В детстве назначение этого странного сооружения было для меня полной загадкой. В тот день я спросил у мамы: что там внутри делается? Она махнула в ту сторону рукой:

«Там глухонемые работают...» Мама думала, что я спрашиваю о деревообрабатывающем цехе позади башни.

– А что они там делают?

– Не знаю, мебель, кажется ...

И из-за этой-то ошибки, я подумал, что в той водонапорной башне держат силой (а как иначе) глухонемых, заставляя их делать табуретки, столы, шкафы и подставки под вазоны. Мои детские подозрения усилились, когда я случайно увидел, как старый сторож в потертой песочного цвета военной форме закрывал на большую колодку ржавые двери. А гудение внутри, и монотонные постукивания в замкнутой башне, полностью убедили меня в страшной правде и невероятно тяжелом существовании обреченных.

«Ну, правильно, – думал я, – они же не могут говорить, кричать, их никто не слышит, и они не слышат никого, но там есть окна!!! Почему они не выбрасывают мебель из тех окон, не привлекают внимание прохожих?» Мысли о глухонемых, которых посадили в башне и беспощадно эксплуатируют, не давали покоя.

Мне даже приснилось, будто я попал внутрь башни, поднялся по закрученной железной лестнице почти под крышу и через щелочку в двери увидел много измученных несчастных людей в синих халатах, которые молча и обреченно снимали с досок стружку большими рубанками. Их ноги и руки были закованы в цепи, они не могли говорить, но каждый раз вглядывались в маленькие грязные окна, за

которыми открывалась панорама города. Они не знали, что я совсем рядом и хочу им помочь, на дверях висела колодка, я не мог к ним добраться, а у меня за плечами уже слышались шаги. Это страшный сторож поднимался по железной лестнице, чтобы схватить меня и бросить к глухонемым, потому что теперь я знаю правду, которую знают только взрослые. Я буду обречен всю жизнь делать табуретки вместе с другими несчастными под крышей высокой старой кирпичной водонапорной башни!

Я проснулся от собственного крика. Так вдруг закончилась моя беззаботная жизнь, теперь меня уже ничто не радовало: ни мороженое, ни футбол, ни мультики, ни игра в слепого кота, ни даже воскресные походы с родителями в местный парк культуры и отдыха. До сих пор в том парке среди аттракционов я получал наибольшее наслаждение от жизни: катался на «сюрпризе», на лодочках и в клетке. А теперь из головы не выходили мысли о бедных глухонемых узниках водонапорной башни. Потом вообще наступили черные дни, я потерял моих верных слушателей, дворовых мальчишек, ведь мне уже было не до небылиц о подводных лодках во втором цехе швейной фабрики. О башне я не мог им рассказать, ведь это было опасно, страшный сторож мог нас всех схватить как только я вымолвлю хоть слово. Поэтому, как только на несколько недель я вышел из роли жаркого рассказчика об удивительных машинах и механизмах, так сразу местный детский народ перестал смотреть на меня как на героя. Вот так неожиданно-негаданно слава и признание покинули меня. У меня не было сил поведать о себе страшную правду, и, рискуя быть схваченным старым сторожем, решил на отчаянный шаг. В отчаянии и с настоящими слезами на глазах я решил обо всем рассказать родителям. Созванный по моему требованию семейный совет в составе папы, беременной мамы, а также бабушки и дедушки с интересом и какими-то странными улыбками выслушал мою исповедь о подпольном рабовладельческом цехе в водонапорной башне, о страшном стороже и беззащитных глухонемых. Когда в рассказе я дошел до сна и наглядно продемонстрировал, как подглядывал в щель, для этого используя все возможные средства (я спрятался за дверь, отделявшей спальню от комнаты с телевизором, и жутким голосом рассказывал про железные цепи, которыми были прикованы мебельные «заключенные»), мои домашние уже не сдерживали смеха. Папа с другой стороны дверей, прервал мой монолог и рассказал настоящую, реальную версию взрослых, пообещал, что в подтверждение сказанного мы вместе можем пойти к старой башне и убедиться, что на самом деле там нет

никаких глухонемых рабов-мебельщиков. Так в один момент развеялись все мои страхи. На сердце стало так легко, что даже захотелось мороженого, конфет, погонять мяч и других жизненных детских сладостей.

Осталась только одна неприятность: я потерял всех своих приверженцев. Теперь на площади под старыми тополями у голубятни мне не о чем было рассказывать. Откуда теперь взять новые истории и байки про невероятный мир, который был открыт только мне? Что я теперь буду делать? В отчаянии я присел на диван рядом с родней. Семейный совет подошел к концу. Дедушка подсмеивался надо мной и называл философом, а бабушка говорила:

– Тихо ты, не травмирует ребенка, он такое пережил, что может потребуется даже воск лить над его головой.

Я, услышав про воск над головой, поднял голову и хотел было уже начать протестовать против устаревших методов народной психотерапии, и искал взглядом поддержки у отца.

И вдруг меня осенило... Я понял, как вернуть славу и признание. В детстве я часто прибегал на работу к папе, он работал на нефтеперерабатывающем заводе...

## **ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК**

Больше всего запомнился холод, было очень холодно и ветрено. Мы ехали ночью, тогда мы еще не знали, что оставалось двое суток до разгона Майдана. Ехали, потому что нужно было заменить измученных и замерзших протестантов. Нас было двенадцать, двенадцать мужчин. У одного из нас был день рождения, хотя день рождения прошел, потому что стрелка часов перевалила за полночь, и новорожденный так и не успел отпраздновать. Вот мы стоим где-то в Житомирской области, посреди поля, автобус припаркован неподалеку, стоим, потому что послушали одного из нас и решили все же хоть немного отметить, на худой конец, ночь рождения, тем более, что водителю надо было дать поспать хотя бы пару часов, ведь он второй раз за сутки курсирует на Киев.

Раскладной мангал, на углях жарятся колбаски, вокруг мангала несколько рыбацких креслиц для «самых старших», но кресла не заняты, пожилые мужчины среди нас не считают себя пожилыми и стоят вместе со всеми в круге. Столик накрыт газетой, на столике водка, бутерброды и вареные яйца. Все приготовлено заранее. Пар и дым валили от мангала и от двенадцати мужчин, поднимаясь в ночное небо, автобус все это

подсвечивал фарами, во много раз увеличивая тени, отбрасываемые людьми в заснеженном поле. Казалось, что тени занимают гектары и что их на самом деле не двенадцать, а гораздо больше, целая армия. Трапеза проходила тихо: негромкие тосты, короткие реплики, сопровождаемые легкими покачиваниями с боку на бок и топтанием на месте, клубы пара изо рта. Все это со стороны, очевидно, выглядело как ночной ритуальный танец, «гектарные» тени добавляли необходимое ритуально-мистическое настроение, мангал был похож на жертвенник, а одновременное распитие водки из пластиковой тары могло восприниматься как древний обряд какого-то странного посвящения.

На самом деле, мы были двенадцатью замерзшими мужчинами, задумчивыми и немного напряженными. Не все были между собой знакомы, поэтому ночное угощение способствовало непринужденному знакомству между пассажирами автобуса, того, что направлялся на революцию.

И тут, собственно, началась эта история. Как говорится, «оно только налило», как вдруг на пустынном горизонте появились синие с красным проблесковые маячки. «Убитая» «девятка» издалека запеленговала нас. Четверо милиционеров с трудом вылезли из «Лады». Поверх теплой зимней формы они имели на себе «салатные» жилеты, на головах шапки-ушанки, под шапками разгоряченные красные морды, то ли от «ладовской» печки, то ли, успели принять на душу. У одного, тучного, поверх жилета на брюхе дулом вниз крепко на шлейке прилегал «калаш». Было видно, что оружие пузану мешает, он постоянно, как врезавшуюся резинку на трусах, поправлял лямку автомата, при этом сам автомат опоясывая живот милиционера, болтался в таком положении, что если бы, не дай Бог, стрельнул самовольно, то яйца бедного толстяка спасти, наверное бы, не удалось. Один из ментов стоял у машины, пряча обе руки, выглядело так, что он там ссыт за дверцей, но на самом деле тот крепко держал пистолет стволом к земле, готовый в случае опасности стрелять по нам. Такая у них в те дни была инструкция.

Удивительно, но никто из нас к ментам даже не обернулся, каждый посмотрел на них, но разворачиваться лицом никто и не думал. Менты в своих ушанках и «салатных» жилетах не вызывали у нас никакой агрессии, мы чувствовали себя безопасно, автомат выглядел карикатурно и больше угрожал яйцам толстяка, чем кому-либо из нас. А тот, что стоял за дверкой «девятки», только и ждал, чтобы толстяк дал ему сигнал прекратить исполнять дурацкую инструкцию.

Мы как раз сняли колбаски с гриля и неспешно начали делить их на небольшие порции, сосредоточено и внимательно, чтобы каждому достался кусочек. Ментам не мешало бы начать разговор. Первым решился толстяк, поправляющий – теперь уже для важности – лямку автомата. Но вместо того, чтобы что-то сказать, он громко откашлялся, при этом с упреком взглянул на милиционера, того, что прятал пистолет за дверцей «девятки».

Двенадцать человек стояли в поле, а с ними четверо милиционеров. Тени двенадцати мужчин, и четырех ментов отражались в житомирском поле синим и красным, и выглядело, будто они танцуют на снегу. Тот из ментов, что недавно прятал пистолет, теперь держал пластиковую тару ипил за здоровье одного из наших. Четверо милиционеров в «салатных» накидках, двенадцать мужчин в Житомирской пустыне, «убитая» «девятка», что мигала сине-красным огнем, танцующие тени и тишина, тишина перед рассветом. За эти двое суток на Майдане жестоко избыют мирных протестующих, затем в феврале одни из нас погибнут, другие пойдут на войну, некоторых из нас убьют, кого-то ранят, кто-то останется дома. Но тогда, в ту ночь, не было больше никого на свете. Ни одна библейская пустыня с ее отшельниками-аскетами и беглецами не сравнилась бы в тот момент с заснеженной полесской низменностью. Тогда мы еще не знали, что будет «до и после», не знали, что именно в тот момент одна эпоха сменяла другую. Через минуту проснется наш водитель, мы заберем все, что принесли в поле, оставим только раскаленный уголь и четырех милиционеров в «салатных» жилетах. Когда мы покидали их, мне хотелось крикнуть одному из ментов на прощание.

– Эй, толстяк! Не отстрели себе яйца! Будь осторожен, будь осторожен, слышь, толстяк, не отстрели себе яйца!

Было очень холодно, холод запомнился мне больше всего...